

## Заметки читателя

Есть у Пушкина небольшое, но замечательное по могучей красоте стихотворение, написанное в 1823 г., никогда, конечно, при жизни поэта в печати не появлявшееся и как-то мало обращавшее на себя внимание и тогда, когда оно, наконец, появилось. Это — брошенный отрывок, начинающийся словами «Недвижный страж дремал...»

Это стихотворение напоено политической мыслью, и редко где Пушкин так близко выразил характерную идеологию «Молодой Европы», «либерального», как тогда говорили, поколения 20-х годов, как именно в этой пьесе. Он представляет себе императора Александра в момент полного торжества возглавляемого царем Священного союза. Веронский конгресс сошел прекрасно, в Испанию направлена французская интервенция, и Испания удушена, вождь испанской революции Риго повешен, еще раньше австрийской интервенцией удушены Неаполь и Пьемонт, придавлено студенчество в Германии, — все обстоит благополучно. Мысли Александра были спокойны «и миру тихую неволю в дарнесли». Эта «тихая неволя» в те годы постоянно противопоставлялась передовыми людьми Европы — бурному, приходившему с военной грозой, сокрушавшему сразу, целые государства деспотизму Наполеона. Тихая неволя, которая поддерживается не армиями и не страшными побоищами, а жандармами, шпионами, полицией, казалась более непереносной именно потому, что она была не катастрофой, которая сегодня грянула, но завтра может кончиться, а прочно установившимся бытом.

В Италии, в Польше, в России, в Испании — «От Тибровых валов до Вислы и Невы, от сарско-сельских лип до башен Гибралтара...» все покорно, «...люди ярем' склонились все главы». Александр вспоминает, как человечество, не жалея своей крови, отчаянно боролось еще так недавно, чтобы избавиться от наполеоновского ига, как народы думали, что, свергнув всемирного угнетателя, они в самом деле освободятся: «...Давно-ль народы мира паденье славили Великого Кумира».

В строгой хронологической последовательности Пушкин вспоминает о революционных движениях в Европе после Ватерлоо, о студенческом движении в Германии (на которое он уже раньше откликнулся в «Кинжал», восхваляя убийство Коцебу студентом Зандом), о том, как «шаталась Австрия» (тут имеют в виду движения в подчиненных тогда Австрии частях Аппенинского полуострова), «Неаполь восставал» — кон-

ституционное движение Гульельмо Пеле, задавленное Меттернихом. Отдельно поставлена Испания, где революция восторжествовала в 1820 г. и где действовала либеральная конституция вплоть до 1823 г., когда интервенция французов покончила с ней: «за Пиренеями уж правила свобода», и погибла эта свобода только что, как раз в том году, когда Пушкин писал свое стихотворение. Александр вспоминает о том, как недавно все это было, — и революции, той скрытой, потаенной, всемирной революции, для борьбы против которой и существовал Священный союз, он бросает высокомерный вызов: «...где же вы, зиждители свободы? Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы!» Пушкин здесь имеет в виду «естественное право», *le droit de la nature, le droit naturel*, как называлось еще со второй половины XVIII века учение Жан-Жака Руссо, обоснованное в «Общественном договоре» и в декларациях прав человека и гражданина в эпоху, как североамериканской, так и французской революции. «Права природы» это и есть «естественные, неотчуждаемые права» революционных деклараций. Александр уже не боится и покушений, от которых погибли Коцебу в Германии и герцог Беррийский в 1820 г. во Франции: «Вот Кесарь — где же Брут?» И презрительно он приглашает народных ораторов Европы («вигий») целовать царский жезл. Пушкин считал царскую Россию главной, серьезнейшей опорой тогдашней мировой реакции, «жандармом Европы», но позднейшему выражению основоположников революционного марксизма.

И вот — пред торжествующим царем в ночной тиши — галлюцинация. Пред ним — видение Наполеона.

Этот Наполеон — уже не тот, который рисовался воображению молодого лицеиста, помнившего, как они, дети, со старшими братьями прощались, «завидуя» тем, кто шел умирать в 12-м, в 13-м, в 14-м годах. Уже не тот кровожадный тиран, который «двадцать целых лет не снимал с себя оружия, не слезал с коня ретивого, всюду пролетал с победою, мир ирещенный погопил в крови, не щадил и некрещеного», не тот Наполеон, каким он выступает в этих посвященных ему стихах «Бовы» в 1814 г. (Тут, кстати, обращают на себя внимание слова о некрещеных, которых Наполеон тоже потопил в крови: Пушкин вспомнил тут Египет и Сирию. Это характерно для всегдашней предельной насыщенности содержанием пушкинских стихов.) Не похож этот пушкинский Наполеон 1828 г. и на того «Наполеона на Эльбе», которого воображал себе Пушкин в 1815 г. и который готовился снова отвоевать свой трон.

Уж мир лежит в сковах предо мной.  
Пройду я к вам сквозь черные лучины  
И гряну вновь погибельной грозой

Где Наполеон — там деспотизм кровавого тирана, там гнет, рабство, сковы. Таков Наполеон в юношеских представлениях Пушкина. Близость яркой борьбы, близость Бородинского кровавого поля и московского пожарница еще чувствуется в этих стихах. Но не похож Наполеон, являющийся в галлюцинации Александру в 1828 г., и на того Наполеона, которого поэт дает нам в оде на смерть французского императора.

В этой оде, написанной в 1821 г. после получения первых известий о смерти Наполеона, мы видим уже большую глубину политического прозрения. Да, конечно, Наполеон «налагал ярем державный... на земные племена», он угнетатель человечества, во след которому летит проклятие поработенных народов. «Европа гибла; сон могильный Носился над ея главою»; его постигло справедливое мщенье со стороны Европы, которая «...свой расторгла плен»:

И длань народной Немезиды  
Подъяту видит великан:  
И до последней все обиды  
Отплачены тебе, тиран!

Все это так.

Давно ль орлы твои летали  
Над обесславленной землей?  
Давно ли царства упали  
При громах силы роковой?

Но он ли один виноват? Кого первыми он поработил? Чужие народы или французов? Пушкин говорит не только о властелине, но и о рабах, забывших революцию, предавших революцию, покоровившихся господину:

Новорожденная свобода,  
Вдруг онемев лишилась сил;

Рабы продали свою свободу — и взамен получили — славу, не понимая, что эта мена составляет для них позор:

Среди рабов до упоенья  
Ты жажду власти утолил,  
Помчал к боям их ополченья,  
Их цепи даврами обвил.

Надежда революции сделать страну свободной, дать стране народо-властие, — была величавой надеждой, а побрякушки военной славы были ничто сравнительно с этой надеждой, как бы блистательна ни была эта военная слава:

И Франция, добыча славы,  
Пленный устремила взор,  
Забыв надежды величавы,  
На свой блистательный позор

Не потому порицает поэт завоевателя, что завоеватель узурпировал трон «законных» Бурбонов (как это еще прорывается в лицейских стихотворениях), а потому, что он задушил революцию, и французы позволили ему это сделать и подчинились цепям, которые Наполеон на них надел, потому что эти цепи он обвил военными лаврами. Все это — законченное историческое воззрение на Наполеона. Но в конце — прорываются звуки, которые так необычайно характерны именно для 1821 г.: поэт хочет примиренья с Наполеоном, он утверждает, что над «великолепной могилой» должна кончиться «ненависть народов» к своему

бывшему властелину и что должен быть предан позору тот, кто отныне посмеет бросить Наполеону укор.

Хвала! Он русскому народу  
Высокий жребий указал,  
И миру вечную свободу  
Из мрака ссылки завещал.

Последние два стиха необычайно характерны и для Пушкина, и для Виктора Гюго (несколько более позднего периода), и для Стендаля, и для Армана Карреля, и даже для Байрона, который долгие годы негодовал на Наполеона за 18-е брюмера, — а после его смерти стал его воспевать за то, что он, «не родившись царем, влек царей за своей колесницей». Никакой свободы Наполеон миру не завещал, но поэтам молодой Европы и великому гению молодой России представлялось, что сокрушитель царей снова превратился на острове св. Елены в бывшего революционного генерала, и что его ядовитые высказывания о монархах и правителях, доносившиеся и до Петербурга, и до Москвы, и до далекого Кишинева с острова св. Елены чрез Лондон и Париж — знаменуют собой превращение бывшего военного диктатора — в свободомыслящего поборника народных прав. Именно тогда начали выступать творцы наполеоновской легенды, именно тогда эту легенду первыми стали создавать в Европе именно те, кто хотел тесно связать Наполеона с великой борьбой французской революции против феодальной Европы. Но у Пушкина есть та широта взгляда, то чувство меры и гармонии, та глубина мысли, которая все-таки не позволила ему дойти до гиперболических «Оды к колонне» Виктора Гюго и тому подобных произведений.

В записной книжке Пушкина есть две любопытные записи, сделанные поэтом в 1821—1822 гг. Одна из них сделана по-французски, Пушкин передает чьи-то слова, сказанные в 1820 г.: «революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там... Господа государи, вы сделали глупость, лишив Наполеона престол» (Венгеров, V, стр. 411, № 1002). Правда, это Пушкин записывает чужое суждение. Во всяком случае, оно не идет еще вразрез с представлением о Наполеоне, сказывающемся в оде на его смерть (1821 г.). Другая заметка уже выражает мысль самого Пушкина: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество может быть более, чем Наполеон» (там же, V, стр. 413). Это гармонирует с общим взглядом Пушкина на личные качества Наполеона, которого наш поэт никогда не идеализировал. Эту интимную запись, сделанную некогда в записной книжке, он повторил и в «Евгении Онегине»:

Мы все глядим в Наполеоны,  
Двуногих тварей миллионы  
Для нас орудие одно.

Если от оды 1821 г. мы снова перейдем к интересующему нас тут отрывку 1823 г., то увидим усиление именно той заключительной ноты, которая так явственно прозвучала в самом конце этой оды: Наполеон

завещал миру вечную свободу, значит, Наполеон был бы теперь против Священного союза и отстаивал бы свободу народов. Он не на той стороне, где Александр и Меттерних, он — по ту сторону баррикады. Пушкинский Наполеон 1823 г. является пред Александром, как грозное напоминание. Александр, который только что ликовал, что ненавистная революция, наконец, раздавлена, — вдруг видит перед собой грозного, вышедшего из революции диктатора и полководца, от лица которого он так позорно убежал из-под Аустерлица, плача от страха, что его нагонят французские гусары. Александр I видит пред собой вонтеля, которого приказал ему подписать позорный мир в Тильзите, разгромив снова и снова его войска. Пушкин называет Наполеона в стихах 1823 г. точь-в-точь так, как в следующем поколении Маркс и Энгельс определяли его в прозе: они отмечали (много раз и с ударением), что он был не только ликвидатором революции, но и носителем многих ее начал, разрушительных для феодальной Европы; и Пушкин говорит об этой же двойственной роли императора: «Мятежной вольности наследник — и убийца». Он не идеализирует Наполеона: «Сей хладный кровопийца» для него не есть образец красоты душевной, но этот военный герой был «...всадник, перед кем склонились цари», и этого довольно для Пушкина.

Александра I Пушкин всегда считал посредственностью и в военном деле и в дипломатии и даже чины ему давал по обоим ведомствам самые маленькие:

Воспитанный под барабаном,  
Наш царь лихим был капитаном,  
Под Аустерлицем он бежал,  
В двенадцатом году дрожал...

Теперь он отставной ассессор  
По части иностранных дел

читаем мы в его известной эпиграмме. Возвращался он мыслью к Александру и много позже, работая над концом «Онегина», — и все вспоминал об этом «владельце слабом и лукавом» и о тех временах, «когда не наши повара орла двуглавого щипали у бонапартова шатра». Возвращался и к Наполеону, выражая свою грусть по поводу разрушения легенды о рукспожатиях, которыми будто бы оделял Наполеон чумных больных в Яффе («Герой»).

Но нигде уже не было такого политически заостренного противопоставления двух принципов, олицетворенных в юбих императорах, как то, которое мы находим в этом замечательном отрывке 1823 г.

Он, между прочим, напечатан — и очень хорошо — в однотомнике, который издан в 1936 г. под редакцией Б. В. Томашевского. Читатель может несколько удивиться этой похвалле и спросить: а как же можно «дурно» напечатать Пушкина? Этот вопрос, однако, показал бы, что читатель очень неискушен в успехах пушкинизма, размеры и темп конх внушают теперь такую справедливую и широко распространенную тревогу.

Знаменитый «принцип», по которому «в основу мы кладем издание 1834 года» остается еще на ногах и держится весьма бодро. Правда,

этот одномоник 1936 г. все-таки производит более отрадное впечатление по сравнению с пресловутым одномоником 1924 г., к несчастью выдержавшим шесть или семь изданий.

Но все-таки и то, что мы видим в одномонике 1936 г., тоже достойно своего рода удивления.

Мы раскрываем одномоник и читаем «Евгения Онегина». Вы помните то наслаждение и вместе с тем то щемящее чувство, которое вас охватывает, когда Пушкин в конце шестой главы говорит нам о дворе Николая, о высшем свете, о всех этих Бенкендорфах и Чернышевых, о всех этих графинях Нессельроде, о своих будущих убийцах, о том гнусном «омуте», где ему суждено было погибнуть. Вы помните, как он просит свое вдохновение чаще прилетать к нему, — не дать остыть душе поэта, не дать ей наконец окаменеть —

В мертвящем упоении света,  
Среди бездушных гордецов,  
Среди блистательных глупцов,  
Среди лукавых, малодушных,  
Шальных, балованных детей,  
Злодеев и смешных и скучных,  
Тупых привязчивых судей,  
Среди кокеток богомольных,  
Среди холопов добровольных,  
Среди вседневных, модных сцен,  
Учиных, ласковых измен,  
Среди холодных приговоров  
Жестокосердной суеты,  
Среди досадной пустоты  
Расчетов, дум и разговоров,  
В сем омуте, где с вами, я  
Купаюсь, милые друзья.

Куда делись эти бичующие, навсегда клеймящие стихи, к которым вы так привыкли с детства, которые вы встречали решительно во всех изданиях, выходявших с тех самых пор, как Николай Павлович и Бенкендорф смежили, наконец, свои очи, — которые даже проскользнули (один раз) в первом издании! Этих стихов нет. Б. В. Томашевский их изъял. Вместо них стоит скромная маленькая цифра: 40. Ищите и обращайтесь. Вы найдете эти пропущенные строфы напечатанные крошечным петитом в примечаниях. Разве есть этому оправдание? Разве можно объяснить читателю, что безнадежно, грубо, непоправимо испорчена вся художественная эмоция, так нарастающая при каждом стихе этих бес- смертных строф, если их нужно где-то отыскивать, прервав чтение? Вместо этого гневного бога поэзии, клеймящего николаевских палачей и их приспешников и приспешниц, — пред вами вырастает скромная фигура редактора с указующим перстом, направленным на цифру, 40.

Что бы сказал Б. В. Томашевский, если бы кто-нибудь из хранителей Лувра аккуратно вырезал у Джоконды Леонардо да-Винчи нос и наклеил бы вместо него ярлычек с указанием номера кладовой, где этот нос сохраняется?

Читаем «Онегина» дальше. Находим эту бессмертную поэтическую автобиографию начала восьмой главы («В те дни, когда в садах лица...»). Пушкин вспоминает в IV строфе о своей ссылке:

Но рок мне бросил взоры гнева  
И вдаль занес... она за мной.  
Как часто ласковая дева  
Мне услаждала путь немой.  
И т. д.

Собирательный жандармско-цензурный Бснкендорф, конечно, не пожелал подобных намеков. И Пушкин в «беловом» экземпляре заменил эти стихи другими, совсем не такими:

Но я отстал от их союза  
И вдаль бежал... она за мной.  
Как часто ласковая муза  
И т. д.

Почему от советского читателя тоже необходимо утаивать «взоры гнева» — понять нельзя ни в коем случае. Статьи, даже в «примечаниях», даже самыми маленькими типографскими бактериями не напечатаны эти стихи. И читатель, который будет иметь непоправимое несчастье знакомиться с Пушкининым только по этому одногмнику, так во веки веков этих стихов и не узнает. Не совсем также понятно, для кого писались эти примечания.

Вот «Домик в Коломне». Конечно, вы уже и не рассчитываете найти длинный ряд прелестных, остроумных октав, которые дал в своем издании Ефремов и дали другие издатели; конечно, впечатление от этого у читателя будет несравненно менее яркое, чем если бы он прочел эту замечательную вещь в том виде, в каком она вылилась из-под пера Пушкина. Вы начинаете искать. Ищете, ищете. Терпение и труд все перетрут. Страниц, примерно, через семьсот пятьдесят вы находите пропавшие восемнадцать октав, — и тут же примечания. В этих примечаниях остается совершенно невыясненным и не комментированным загадочный на первый взгляд стих:

У нас война. Красавцы молодые!  
Вы, хрипуны! (но хрип ваш приумолк),  
Сломали-ль вы походы боевые?  
и т. д.

Что под «хрипунами» тогда понимались картавящие на французский лад гвардейские великосветские офицеры, — это известно. Но что это значит: «но хрип ваш приумолк», — брошенное мимоходом, в скобках, без пояснения? Это значит, что только в конце 1829 и в 1830 г., когда писалась поэма, в Петербурге и Москве в публике стали из рассказов вернувшихся узнавать об ужасах русско-турецкой войны 1828—1829 гг., о тяжелых поражениях под Праводой, под Эски-Арнаутляром, о «любезде» под Кувечей, где пало так много офицеров отборных частей, о засаде, в которую попали гвардейские сгеря (под командой полковника Залусского), где они и были почти полностью истреблены при столкновении с корпусом Омер-Вриона-паша, и т. д. и т. д. «Если подумать, что

полк гвардейских егерей был одним из самых аристократических полков, офицеры которого все почти без исключения принадлежали к русской придворной аристократии,— то можно понять колоссальное впечатление, которое произвело это плачевное поражение», правильно пишет Шима, пользовавшийся для своей истории документами и показаниями разнообразнейших архивов (*Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus I*, том II, стр. 267). Да будто это и до шимановских документов не было известно — и об этих страшных позорных поражениях и потерях, и о впечатлении, которое эти события производили в Петербурге и Москве! Пушкин нам бросил украдкой от Бенкендорфа намек, а мы его сто лет упорно не хотим понимать? Однотомник, например, тоже и не подозревает тут ничего. Так, просто, сболтнул Пушкин, что какой-то «хрип приумолк»... Стоит ли, за множеством дел, над этим долго думать?

Безнадёжно испорчено и «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»), — дана только первая короткая часть стихотворения, — вся потрясающая вторая часть, для которой первая служит только введением, вступлением — отсутствует, сослана на задворки, за пятьсот страниц расстояния. Уж лучше бы совсем не давать этой дивной лирики, чем давать ее в таком изуродованном виде. Да, совершенно верно, при Пушкине в печати появилась лишь первая часть; Пушкина ведь стесняли не только жандармы и цензура, у него могли быть и другие препятствия. Но написал-то он это как цельную пьесу? Зачем же теперь ее портить, кромсать, уничтожать! Особенно это нестерпимо для тех, кто знает Пушкина и, только что приготовившись насладиться этими звуками, находит вместо них в самом начале аккуратную черточку: все. Конец. Почитали и довольно с вас.

Я пишу тут только о том, что мне лично бросилось в глаза при первом же беглом просмотре однотомника. О других перлах, которые выудил отсюда же тов. Гурштейн, я говорить не стану. Очень рекомендую читателям эту статью, появившуюся в газете «Правда» от 16 декабря 1936 г. (А. Гурштейн, Слепые пушкинисты). Никогда не узнают злополучные читатели, которые будут знакомиться по этому однотомнику с Пушкиным, о том, что у них похищена — и даже не запрятана на задворках, а просто бесследно скрыта, — сгинула без вести вторая часть этого дивного произведения: «Стамбул гяуры нынче славят», о котором Белинский говорил с таким пламенным восторгом и которое одно уже давало бы Пушкину право называться солнцем русской поэзии. Да, как это ни чудовищно, это факт: начиная со слов:

Алла велик. К нам от Стамбула  
Пришел гонимый янычар, —

и до конца шестнадцать стихов, которые вы найдете буквально во всех старых изданиях и которые полны такой патетической поэзии, выпущены, и нигде даже не отмечена эта маленькая операция. Их нет даже в примечаниях.

Пропущены и именно те шестнадцать стихов, которые говорят о кровавом усмирении восстания янычар в Константинополе и провинции,



то-есть о событии, прогремевшем на всю Европу в те же, примерно, годы, почти в то же самое время, как декабрьское восстание на Сенатской площади в Петербурге. Пушкин знал, конечно, что эта часть едва ли пройдет благополучно, и, несомненно, соответственным образом «перебелил» свое дивное творение. Но ведь стихи-то, вылившиеся из-под его пера, остались? Ведь все издали, не заболевшие «принципом» перепечатки издания 1834 г., всегда полностью давали читателям эту вдохновенную песнь о Стамбуле, об Арзруме, о янычарах. Почему же советский читатель должен быть так стыдлив, что ему тоже нельзя говорить о восстании янычар, иначе он — чего доброго — подумает тоже о декабристах?

И в поэтическом и в политическом отношении это творение Пушкина выхолощено и испорчено.

Такое же совсем непозволительное дело учинено и над «Египетскими ночами»: выброшен конец великой импровизации: последний напечатанный стих — «Глава счастливых отпадет», а кто хочет читать дальше, тот пусть достанет у букинистов издание Венгерова, или Ефремова, или Морозова, или вообще какое угодно, кроме изданных Б. В. Томашевским и его внешними соратниками по пушкинизму. И тоже: даже в примечаниях нигде не даны выброшенные стихи и нигде не отмечено, что над этой классической вещью проделана кастрация.

И это предлагается нам в качестве «сочинений Пушкина!» Под подобные действия подводят какие-то «теории» и «научные» основания... Вспоминается архитектор, который утешал обитателей только что им выстроенного и сразу же развалившегося дома: «Это было предусмотрено проектом». Нензвестно, очень ли это успокоило пострадавших.

Я не рецензию пишу, а только делюсь своими беглыми читательскими впечатлениями. Поэтому — лишь два слова о том, что случайно попало на глаза в примечаниях.

Откуда взял автор примечаний, что употребленное Вяземским слово: «шинельные» в применении к патриотическим стихотворениям Пушкина означает: «лакейские, поздравительные» (стр. 832). «Шинельные» ясно обозначает здесь: военно-патриотические, браваурные, «барабанные» (последнее выражение), но вовсе не «лакейские» — лакеи шинелей не носили, — и не «поздравительные»; в стихотворении «Клеветникам России» Пушкин решительно никого не поздравляет.

Некоторые объяснения слов совершенно неточны: «Деист — человек, отрицающий обрядовую религию» (1). Казанова вовсе не «рисует великосветский быт», напротив, этот быт, совсем ему чужой по его классовому положению, играет лишь эпизодическую роль в его записках. О Каченовском не сказано самого главного: что он был главой «скептической школы» в русской историографии, имевшей очень большие заслуги перед наукой, и боролся вовсе не с «лигатурной школой Карамзина», а именно с Карамзиным, как историком. На стр. 935: «Квакер — религиозный сектант». И только. Но вот, например, старообрядцы, скопцы, мормоны и т. д. — тоже религиозные сектанты. Разве можно так «объяснять»? Поццо-ди-Борго (стр. 942) назван «одним из вдохновителей белого террора во Франции». Как раз наоборот: он

изо всех сил старался бороться против ультра-роялистов, разжигавших белый террор. На стр. 943 — дважды — Рейнская конфедерация названа конференцией и ни разу не названа правильно. Есть и еще ошибки. Но не в этом дело. В общем и словарь составлен не плохо, и примечания почтенные, и труда положено много, и текстологическая проверка дала кое-где ценные добавления, например, в Юдифи («Когда владыка ассирийский»), и все-таки необходимо немедленно этот однотомник Пушкина переиздать с самым радикальным выправлением всех искаленных мест. Абсурднейший «принцип», ровно ничего «научного» в себе не имеющий, погубил уже более чем достаточно бумаги, отпущенной на Пушкина. Пора, наконец, получить то, что Пушкин хотел напечатать, но не мог, — а вовсе не то, что граф Бенкендорф считал уместным из Пушкина дать читателям сто лет тому назад, или, что Пушкин, скрепя сердце, «перебелял», зная, что «черновиков» Бенкендорфы не пропустят.

Мы знаем, что Пушкин сам далеко не так добродушно, как за него это делают пушкинисты, относился к необходимости «перебелять» свои «черновики» и считаться с усовершенствованиями, вносимыми посторонней попечительской рукой. А. Ф. Кони рассказывал, что, по словам самого Некрасова, рассылный Минай и знаменитый разговор с ним взяты Некрасовым с натуры:

...Не чета Александру Сергеичу:  
Тот частенько на водку давал.  
Да зато попрекал все цензурою:  
Если красные встретит кресты,  
Так и пустит в тебя корректурую:  
    Убирайся, мол, ты!  
Глядя как человек убивается,  
Раз я молвил: сойдет-де и так!  
«Это кровь, говорит, проливается!  
    Кровь моя! Ты дурак!»

Вот как покойник относился к своим подневольным «беловикам» и к цензурным изменениям.

Пора, спустя сто лет, перестать проливать кровь поэта. Пора перестать обманывать миллионы и миллионы впервые берущихся за Пушкина современных читателей, подсовывая им Пушкина, исправленного и «улучшенного» Бенкендорфом.

# ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Ж У Р Н А Л  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ  
КРИТИКИ  
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А  
П Е Р В А Я



Г О С Л И Т И З Д А Т  
1 9 • Я Н В А Р Ь • 3 7